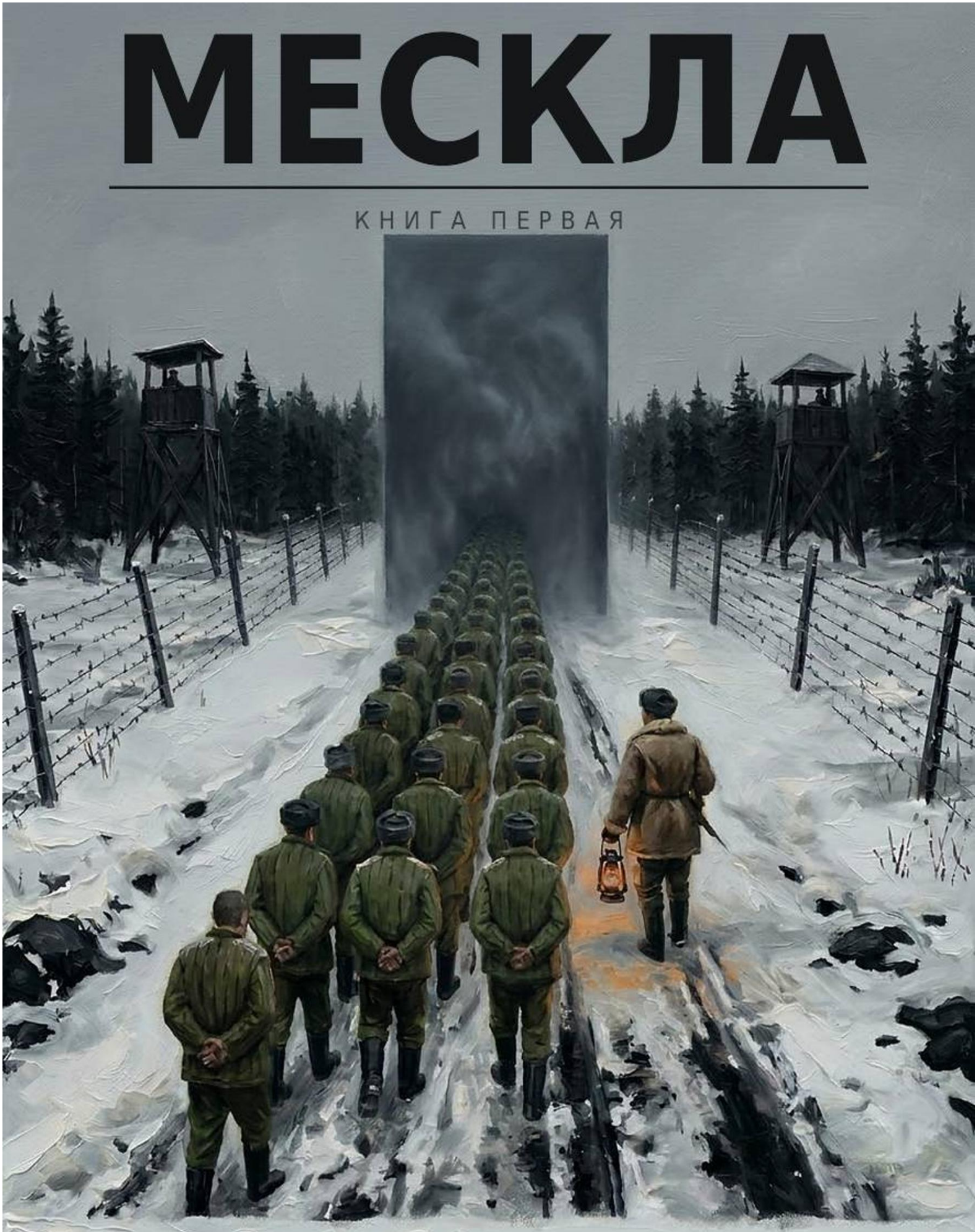
МЕСКЛА

КНИГА ПЕРВАЯ



ИЛЬЯ ТРУШКИН

Илья Трушкин

МЕСКЛА

«Автор»
2026

Трушкин И.

МЕСКЛА / И. Трушкин — «Автор», 2026

Егор Сажин десять лет вёл чужие книги и считал, что ведёт их честно, — у него всегда всё сходилось. За подписи под документами, которых он не читал, ему дали девять лет.В приговоре указана колония в Мордовии. Железная дорога обрывается в лесу под Зубовой Поляной, и дальше состав уходит туда, где не бывает рассвета. Где светлеет со всех сторон сразу. Где не поют птицы и нет насекомых между оконными рамами.Этой колонии нет ни в одном реестре. Сюда не доходят письма и не приезжают проверяющие. По ночам на вышках стреляют в сторону леса, а утром наряд выжигает что-то на полосе между рядами колючей проволоки, и всем велено не смотреть.Через месяц Сажин перестанет мёрзнуть. Через два — спать. Он поймёт, что с ним происходит, раньше, чем узнает, как это называется, — и что рассказать об этом нельзя никому, потому что за такими здесь приходят.

© Трушкин И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Приход 5
Глава 1. Опись 5
Глава 2. Приёмка 15
Глава 3. Ведомость 23
Глава 4. Выработка 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Илья Трушкин
МЕСКЛА

Часть первая. Приход

Глава 1. Опись

Автозак был рассчитан на восемь человек, а сидело одиннадцать, и Егор пересчитал их дважды, потому что это было единственное, что он мог сделать.

Сначала по ногам, чтобы не поднимать глаз: сапоги, ботинки, снова сапоги, одна пара кроссовок с порванным носком, из которого торчал серый носок, и этот носок почему-то было невыносимо видеть. Потом по головам, когда машину тряхнуло на стыке и всех качнуло к нему, выдохнув махоркой и кислой пересыльной капустой, и на секунду он оказался так близко к чужим лицам, что различил седую щетину на подбородке соседа и красную ниточку сосуда в его глазу. Одиннадцать. Он держал цифру в голове, как держат в кулаке монету, и пока держал, внутри было прохладно и пусто, как в подъезде зимой, когда дверь хлопнула и ещё не закрылась.

Стоило отпустить — всплывало слово.

За три недели никто не произнёс его вслух. Ни судья, ни следователь, ни конвой, ни те, кто сидел с ним на пересылке и смотрел так, будто он уже умер и ещё не знает об этом. Слово лежало на дне, под всем остальным, и всплывало ровно в ту секунду, когда он переставал считать, — и тогда он начинал заново. Столбы за решёткой окна. Заклёпки на железной двери: двадцать четыре, он знал это уже на третьем часу. Трещины в резиновом коврике под ногами, похожие на карту реки, которой нет.

Одиннадцать. Значит, по дороге кого-то подсадят. Или кто-то не доедет.

Второе бывало, и он знал это не из рассказов. На пересылке в Пензе, в соседней камере, был парень, которого утром не досчитались на поверке. Дежурный провёл пальцем по списку, что-то вычеркнул, и больше об этом не говорили — ни дежурный, ни те, кто сидел в той камере и видел, как это было. Егор тогда тоже промолчал. Он вообще умел молчать так, что это выглядело как согласие. Теперь он вспоминал того парня при каждом торможении, и живот сжимался в твёрдый, холодный кулак, и он думал: а если так же, если просто вычеркнут, то кто узнает? Мать узнает. Через месяц, через два, из письма, которого не будет.

Девять лет. «С отбыванием в учреждении особого режима». Судья, немолодая, в очках с толстыми стёклами, за которыми глаза казались маленькими и мокрыми, произнесла это ровно, как читают адрес с конверта, и он тогда не понял. Понял позже, на пересылке, когда его спросили, за что и сколько, и он назвал статью и срок, и трое мужиков, которые до этого смотрели сквозь него, как сквозь стекло, вдруг посмотрели прямо. Без злобы. Без интереса даже. С той тихой, почти ласковой жалостью, с какой смотрят на похороненного. Один из них, пожилой, с вытатуированным на пальцах перстнем, сказал только: «Ну, значит, туда», — и отвернулся, и Егор полночи лежал, повторяя это «туда» и не находя ему места.

Ехали восьмой час. Ладони были мокрыми, он вытирал их о колени, и штаны на коленях стали влажными и холодными, и от этого было противно, как от чужого прикосновения. За решёткой окна ползла Мордовия, которую он видел впервые и запоминал против воли: тёмный еловый лес в ржавых пятнах сосен, поле с остатками жухлой травы и одинокой, как забытая вещь, копной, снова лес, вереница бетонных столбов с провисшими проводами, на которых сидели вороны, и он считал ворон, и ворон было девять, и это ничего не значило. Небо висело

низко, цвета мокрой газеты, и казалось, что его можно потрогать, если встать. Один раз мелькнула заправка, и он успел прочесть цену на дизель. Дороже, чем дома, на рубль сорок. Значит, уже здесь. Значит, скоро.

Он принял это так, как принимают, что вода в ванне стала горячее: не шевельнувшись, только внутри что-то сжалось и больше не разжималось.

Напротив сидел парень — совсем мальчишка, лет двадцати, с тонкой цыплячьей шеей, торчащей из воротника чёрной курточки на рыбьем меху, которую кто-то, наверное мать, покупал ему ещё в сентябре и не думал, что носить её придётся здесь. Всю дорогу он смотрел на Егора. Не просил ничего, просто смотрел, как смотрят в поликлинике на того, кто сидит ближе к двери: вдруг знает, что там, за ней. Правая нога у него дрожала — мелко, часто, как у собаки во сне, — и он прижимал её ладонью, и дрожь не унималась, а уходила выше, в руку, в плечо, в подбородок, и Егор понимал, что ещё минута, и парень заплачет или заговорит, и неизвестно, что хуже.

Он отвёл глаза к окну. Не из жалости. Из трусости. Потому что в этой дрожащей ноге слишком ясно читалась его собственная, и он не хотел видеть, как это выглядит со стороны.

Мать не знала, куда его везут.

Он сказал ей то же, что говорил всем: колония, Мордовия, обычная, таких сотни. Она помолчала в трубке, и он слышал, как на кухне у сестры работает телевизор, кто-то смеялся там, записанным смехом, и этот смех был единственным, что он потом помнил из разговора. Потом она сказала: «Ну, это не так уж далеко». Таким голосом, каким говорят «ну, зато не дождь». И он согласился. Это были его последние слова ей, и он не был уверен, что они были правдой, и не был уверен, что она в них поверила. Она умела не верить молча. У неё это было семейное, и он унаследовал.

У двери, ближе всех к конвоиру, сидел крупный мужик с бритой наголо головой, синей от щетины. Татуировка выползала у него из-под воротника на шею, какая-то церковь, или птица, или то и другое, и Егор старался её не рассматривать, потому что рассматривать значило спрашивать, а спрашивать здесь было нельзя. Мужик спал или делал вид: глаза закрыты, руки на коленях неподвижны, и когда автозак тормозил и всех бросало вперёд, он даже не вздрагивал, только чуть переставлял ступни, как переставляет их человек в поезде, который едет этим поездом в сотый раз. Егор завидовал ему тяжёлой, беспомощной завистью, какой завидуют спящим в самолёте во время болтанки.

Остальные молчали каждый по-своему, и он, не желая того, запоминал их молчание. Один беззвучно шевелил губами, и это могла быть молитва, а могла быть таблица умножения. Другой сидел неестественно прямо, положив ладони на колени, будто в церкви или на экзамене. Третий грыз ноготь на большом пальце, долго, сосредоточенно, пока из-под ногтя не выступила кровь, и тогда стал грызть другой. Егор считал и это — способы молчать — и не стал себе мешать. Пусть. Это было лучше, чем слово.

У КПП простояли минут сорок, и все сорок минут он считал машины на трассе. «Газели», фуры с синими тентами, одну серебристую «Ладу» с детским креслом на заднем сиденье, пустым, — и от этого пустого кресла стало вдруг так плохо, что он чуть не застонал. Семнадцать. Через решётку виднелся обрезок посёлка, обычного, из тех, что проезжаешь не глядя. Двухэтажка из серого кирпича, балконы застеклены кто во что горазд, на одном сушится детское, розовое. Остановка без расписания и без стекла, с нарисованным баллончиком словом, которого он не разобрал. «Пятёрочка» с зелёной вывеской и мокрым картонным ящиком у крыльца, и на крыльце курили две женщины в пуховиках, одна в розовом, другая в чёрном, и поглядывали на автозак лениво, как на рейсовый автобус, и о чём-то говорили, и одна засмеялась.

Егор смотрел на них и понимал, что они видят такие машины каждый день. Что для них это ничего не значит — ни он, ни парень с дрожащей ногой, ни бритый. Они докурят,

возьмут в магазине хлеб и пойдут домой, и будут ужинать, и включат телевизор, в котором кто-то будет смеяться записанным смехом. Если бы они отвернулись, было бы легче. Но они не отворачивались, и это было хуже всего: он уже был не человеком, а частью пейзажа, как остановка, как ящик, как ворона на проводе.

Потом шлагбаум, красно-белый, с мигалкой. Потом ещё один. Потом забор.

Он ждал чего-то другого — сам не знал чего, может, той колючки в три ряда, какую показывают в кино, или вышек с прожекторами, — а забор оказался заводским. Серые бетонные плиты в потёках ржавчины, поверху колючка в два ряда, за ней прожекторы на столбах. Такие заборы стоят вокруг любого элеватора, любой нефтебазы, любого склада на окраине любого города, и этот ничем не отличался от тех, мимо которых он ездил всю жизнь, и именно это и было страшно. Забор не говорил «тут ад». Забор говорил: ничего особенного за мной нет. Просто отсюда не выходят.

Машина встала. Дверь открыли снаружи, и внутрь вошёл воздух — сырой, октябрьский, ещё не морозный, пахнущий мокрой землёй и соляркой, обычный воздух, — и в нём было ещё что-то, чего Егор не знал. Не дым. Что-то горелое, тряпичное, старое, слежавшееся, как будто здесь жгли что-то каждый день, годами, и давно перестали чувствовать, и теперь этот запах жил в стенах, в земле, в одежде тех, кто стоял снаружи. Он втянул его, и живот отозвался тошнотой, и он сглотнул и подумал: вот это я теперь буду вдыхать девять лет. И это тоже было цифрой, и он за неё схватился.

— На выход. По одному. Руки за спину.

Конвоир был молодой, с обветренным лицом и обмороженным когда-то кончиком носа, розовым и блестящим, но голос у него был старый. Он говорил эти слова по сорок раз в день и давно себя не слышал, как не слышит себя кассир, называющий сумму. Егор поднялся. Ноги за восемь часов стали деревянными, чужими, и первые два шага он сделал как старик, цепляясь за край скамьи и чувствуя, как кровь, отхлынувшая от ног, бьёт в голову тёплой волной.

Бритый у двери всё-таки не спал. Когда Егор проходил, он чуть подвинул колени, пропуская, — не глядя, не открывая глаз, так, как подвигаются в вагоне метро. Это было почти вежливо. Егор не понял, что это значит, и запомнил на всякий случай, потому что здесь, он уже чувствовал, запоминать придётся всё.

* * *

Их повели по коридору — длинному, одноэтажному, с лампами через одну, половина которых перегорела, так что свет лежал на линолеуме пятнами, и между пятнами были провалы, и в провалах шаги звучали иначе, глуше. Стены были выкрашены до пояса в масляную зелень, выше в белое, и зелёная краска местами вспучилась и облупилась, и под ней была другая краска, тоже зелёная, только темнее, довоенная какая-то. Так красили все казённые коридоры страны — школы, военкоматы, поликлиники, суды, — и от этой зелени Егору стало легче, в ней было что-то домашнее, почти родное, и он разозлился на себя так, как злятся на собаку, которая виляет хвостом тому, кто её бьёт.

Пахло хлоркой и всё тем же горелым. Здесь запах был гуще, он въелся в стены, в тряпку на швабре в углу, в ватники конвоя, в самого Егора уже, наверное. Он попробовал считать двери и сбился на седьмой, потому что за одной из них кто-то коротко вскрикнул — негромко, как вскрикивают от укола, — и конвоир даже не повернул головы. Егор тоже не повернул. Это был первый урок, и он выучил его сразу, всем телом, как выучивают, что плита горячая.

Медкомиссия занимала четыре минуты на человека. Он засёк по часам над дверью. Часы висели криво, на одном гвозде, и секундная стрелка на них дёргалась, будто за что-то цеплялась и не могла пройти, и он смотрел на неё, пока ждал, и думал, что это он сам, эта стрелка.

Врач была женщина лет сорока, в белом халате поверх серого свитера, и с её лица давно сошло всё лишнее: ни помады, ни бровей почти, ни выражения. Она не подняла на него глаз. Смотрела в планшет, и стилус ходил по экрану короткими движениями, как спица. Ногти у неё

были коротко острижены, а на безымянном пальце белела полоска от кольца, которое она не носила на работу, и Егор подумал: значит, есть дом, куда она его надевает, — и от этой мысли ему почему-то стало за неё страшно.

— Хронические?

— Нет.

— Операции?

— Аппендицит. В двенадцать.

— Аллергии?

— Нет.

— Голова, сердце, давление?

— Нет.

Это была ложь. Голова болела третий день, с пересылки, тупо, за глазами, будто туда налили тёплой воды и забыли слить. Но он понимал, что «да» здесь означает не таблетку, а графу, и не знал какую, и за три недели научился не попадать в графы, о которых не знает. Медсестра, молодая, с хвостом и жёлтой каплей йода на пальце, взяла кровь из вены одним движением, без жгута, даже не глядя на вену, как берут по двести раз в день, и он почувствовал холод иглы, а потом — ничего, пустоту, как будто из него выкачали не кровь, а что-то, чему нет названия. Пробирка с тёмной кровью ушла в штатив, где уже стояло три ряда таких же. Он посчитал. Тридцать две. Значит, сегодня здесь было минимум два этапа. Значит, он не один, их много, их десятки, и это должно было утешить, но не утешило.

— В регистре состояли?

Он не понял.

— В каком?

— Доноров. Костного мозга.

Вспоминал он не сразу, и пока вспоминал, что-то в нём, тот холодный счётчик, отметил: вопрос не из обычных. Третий курс, физкультура, зачёт. Его можно было закрыть сдачей крови — всей группой, за полчаса, в автобусе с красным крестом, который приехал прямо к корпусу, — и потом до конца семестра не ходить на пары. Он помнил этот автобус, помнил, как смеялась девчонка перед ним в очереди, Лена, кажется, с которой он потом так и не заговорил, помнил, как кололо в локте и как давали печенье. Он даже не прочёл, на что именно сдаёт. Расписался, где показали.

Он всегда расписывался, где показывали. И за это теперь сидел.

Он подумал об этом с усталой, безразличной ясностью, без обиды, — как думают о погоде, которую не выбирали.

— Состоял. Давно.

Врач что-то отметила. Не галочку — две буквы. Он видел, как двинулся стилус: короткая петля и палочка, и ещё раз, и ещё, — но прочесть не смог. И впервые за четыре минуты она подняла на него глаза. Серые, с красными прожилками от бессонницы, без ресниц почти. Смотрела секунды две, не дольше. Во взгляде не было ни интереса, ни брезгливости, ни жалости, ничего из того, к чему он привык за три недели. Было узнавание. Так узнают вещь, которую кладут на нужную полку: смотрят на полку.

— Следующий.

В коридоре их выстроили у стены и велели ждать. Стена была холодной сквозь телогрейку, и холод шёл в лопатки, в позвоночник, и Егор прижимался к ней сильнее, потому что холод был хоть чем-то. Он считал плитки на полу — серые, в чёрную крапинку, со сколотыми углами, одну с трещиной в форме буквы «У». На ста сорока из боковой двери вышел человек в форме. Не конвойной. Другой: тёмно-синей, аккуратной, с нашивкой на рукаве, которую Егор не разобрал, и с лицом, которое не запоминалось, — такие лица бывают у людей, которые всю жизнь работают с бумагами, где написано про других. В руках у него был лист.

Читал он без всякой интонации. Фамилия, инициалы, «налево». Фамилия, инициалы, «направо». Голос был сухой, с хрипотцой курильщика, и каждое «налево» и «направо» падало в коридор, как монета в копилку. Налево уходили по одному и становились у окна. Направо шли к дальней стене, где стоял второй конвоир.

Егор смотрел на это и чувствовал, как внутри поднимается то, чего не было в автозаке: не страх, а что-то более старое, из детства, из физкультуры, когда делят на команды и ты стоишь и ждёшь, в какую попадёшь, и уже знаешь, что в ту, в которую не хотел.

Налево ушло семеро. Направо четверо, и среди них бритый с татуировкой. Тот не двинулся сразу. Постоял, глядя на человека с листом, медленно провёл ладонью по гладкому черепу, как будто проверяя, на месте ли голова, и спросил негромко, почти по-домашнему:

— А чего направо?

— Направо, — повторил человек с листом, не поднимая глаз.

Бритый пошёл. Егор видел его спину под телогрейкой, широкую и спокойную, и не понимал, завидовать или нет, и это непонимание было хуже любой зависти. Потом он сообразил вот что. Из тех четверых, что ушли направо, никто не ответил врачу «состоял». Уверен он не был: двери закрывались, он слышал не всех. Но из тех, кого слышал, ни один. Деть это наблюдение было некуда, и он оставил его в счёте — в той таблице, которая росла у него в голове с каждым часом и в которой пока не сходилось ничего.

Семеро. Его назвали четвёртым.

— Сажин Е. И. Налево.

Он пошёл к окну. За окном был двор, бетон, рельсы, серое небо, и он смотрел туда и думал, что «налево» — это хорошо или плохо, и не мог решить, и злился, что не может, потому что всю жизнь умел.

Парень в чёрной куртке оказался шестым. К окну он шёл, как идут в воду, не зная дна: мелкими шагами, втянув голову в плечи, и когда поравнялся с Егором, выдохнул так, будто долго не дышал:

— Егор Иваныч…

Откуда он знал отчество, было непонятно. С бирки, наверное. На бирке стояло всё: фамилия, имя, отчество, статья, год рождения. Всё, что от человека здесь оставалось, умещалось на пластике размером с ладонь, и Егор с удивлением, почти с обидой, подумал, что парень читал его бирку, а он парня — нет.

— Егор Иваныч, а вы слыхали, куда нас?

— Нет.

— Говорят, туда.

Куда — он не сказал, и Егор не спросил. Этого не говорил никто: ни судья, ни следователь, ни пересыльные, ни конвой. Слово было. Оно висело в воздухе плотно, как запах горелого, и его точно так же обходили — как не называют при больном то, что у него нашли, хотя все вокруг знают и он сам знает, и молчание становится отдельной болезнью.

— Говорят много, — сказал Егор.

Парень кивнул, будто получил ответ, и больше не отставал. Егор посмотрел на него наконец — по-настоящему, впервые. На дрожащую ногу, на тонкую шею, на лицо, которое ещё ничего не умело прятать и на котором всё было написано крупно, как на школьной доске: страх, надежда, страх. Парню было года двадцать два. У него, наверное, была девушка. Или мать, которая покупала ему куртку. Имени его Егор до сих пор не знал и узнавать не хотел.

Имя — это уже долг. А у него не было ничего, чем отдавать.

* * *

Барак на «Пороге» был временным, и это было видно по всему, и временность эта была страшнее любой обжитости.

Сдвоенные нары из сырой, ещё смолистой доски, на которой проступали капли, как пот. Печка-буржуйка, раскалённая так, что краска на трубе вздулась пузырями и сходила чёрными лохмотьями, и от неё шёл жар, от которого хотелось плакать, потому что он был единственным тёплым здесь. Голые стены, к которым никто ничего не прибивал — ни полки, ни гвоздя, ни фотографии, ни того листка с календарём, какой есть в любой казарме, в любой сторожке. Здесь не жили. Здесь ночевали перед чем-то, и каждый старался не оставить следа, будто след мог задержать, будто можно было пройти, не коснувшись, и тогда то, что впереди, тебя не заметит.

Семерых положили в дальний угол, у окна. Окно было затянуто изнутри плёнкой, плёнка дышала от сквозняка и хлопала по раме с мягким, влажным звуком, как бьётся рыба. Остальные нары занимал другой этап, человек двадцать, обросших, в телогрейках поверх свитеров, с лицами, которые Егор не мог разглядеть в полутьме и не хотел. На новых они не смотрели. Не враждебно, не с любопытством, а никак, — как смотрят в плацкарте на тех, кто сел на промежуточной станции и выйдет раньше тебя, и нет смысла запоминать.

Парень лёг на нижние нары, под ним. Доски прогибались и поскрипывали при каждом вдохе, и Егор лежал и слушал, как тот внизу ворочается, затихает, дышит через раз — так дышит человек, который очень старается не заплакать и почти справляется, и это «почти» было слышно лучше любого плача.

— Кирилл, — сказал парень в темноту. Голос у него был высокий, ломкий, с саратовским растянутым «а». — Зотов. Из Саратова.

Егор не ответил. Потом ответил, потому что молчать было хуже, потому что это молчание тоже было долгом, только другим:

— Слышал.

— Говорят, там платят. Если отработал. Говорят, даже срок год за два идёт. — Пауза, скрип досок. — Егор Иваныч, а вы верите?

— Кто говорит?

— Ну… говорят. Мужик на пересылке. Он уже сидел. Говорит, год за два, и платят, и кто умный, тот выходит с деньгами. Говорит, главное — не бояться.

Егор повернулся на бок, лицом к плёнке. Сквозь неё ничего не было видно, только мутный свет прожектора снаружи, жёлтый, в потёках, похожий на свет из окна больницы ночью. Доска под ним была сырой, и телогрейка не спасала, холод шёл снизу, ровный, как от земли, как от могилы, подумал он и запретил себе это слово. Год за два. Он думал об этом, глядя в жёлтое пятно. Год за два означает одно: умирают там вдвое чаще, и те, кто это придумал, считать умеют не хуже него. Это была простая арифметика, и она сходилась, и от того, что она сходилась, становилось страшно по-настоящему, впервые за день.

Вслух он этого не сказал. Парню нужно было во что-то верить. Своей веры у Егора не было давно — он сдал её, кажется, вместе с кровью на третьем курсе, за зачёт, — но отнимать чужую он не умел, и это было единственное, чем он ещё гордился.

— Спи, — сказал он.

— Не могу. — Голос дрогнул. — Я ложусь, а оно… Егор Иваныч, я как закрою глаза, мне кажется, что я уже там. Что это уже всё.

— Считай.

— Чего?

— Что угодно. Над тобой доски. Считай доски.

— Какие доски? Темно же.

— Руками. Проведи. Там сучки, их можно считать.

Внизу замолчали. Потом Егор услышал, как парень шевелит губами, беззвучно, как тот, в автозаке, и как рука его скребёт по доске, и это скребущее, тихое, упрямое движение было таким детским, что у Егора сжалось горло, и он лежал, не дыша, пока оно не прекратилось.

Через минуту дыхание под ним выровнялось. Уснул Кирилл или просто перестал думать, Егор не знал. Он решил, что это одно и то же, и что он сам всю жизнь делал именно это — не думал, называя это сном.

Сам он не спал. Лежал и слушал барак.

Барак скрипел, кашлял, бормотал во сне на десять голосов. Кто-то стонал, негромко и ровно, как стонут от зуба, и этот стон был таким привычным, что Егор понял: человек стонет так каждую ночь, уже давно, и никто его не будит. У печки трещало и ухало, и по стенам ходили рыжие пятна, и в них на секунду проступали лица спящих и снова уходили в темноту. А за стеной, снаружи, что-то работало.

Гудело. Низко, без перерыва, на одной ноте, — не мотор, не трансформатор, не вентиляция, а что-то, чему он не знал имени и не хотел знать. Иногда гул менял тон, едва заметно, как меняется голос, когда человек поворачивает голову, — и тогда под ним, под нарами, под дощатым полом, отзывалось. Так отзывается пол в квартире рядом с метро, когда внизу проходит поезд: не звуком, а дрожью в костях. Потом он услышал поезд настоящий: лязг сцепок прокатился через весь состав, вагон за вагоном, как считают на пальцах. Он вспомнил четырнадцать полувагонов, которые видел днём на рельсах, и то, куда уходят рельсы, — в серое, в ничто, в слово, — и остановил себя.

Мать сейчас спала. Или не спала. Она плохо спала последние три года, с тех пор как…

Дальше он себе не позволял. Позволял только начало: «с тех пор как». Это было как дверь, которую открываешь на ширину ладони и захлопываешь, и успеваешь увидеть только полосу света и край чего-то. За этой дверью стояло то, за что его не судили. Судили за другое — за подписи, за директора, который успел уехать в Черногорию и присылал оттуда фотографии моря, за чужие квартиры в домах, которых никто не построил. Это он мог нести. Тяжело, но можно было положить на весы и сказать: девять лет — за это, — и весы бы показали что-то, и это было бы хотя бы число. То, другое, на весы не ложилось. Оно просто было, как бывает болезнь, о которой знаешь и не лечишь. Мать жила у сестры, в однушке на окраине, на раскладушке, которую раскладывали вечером и складывали утром, и говорила ему по телефону «ну, это не так уж далеко», и он соглашался, и оба знали, о чём они на самом деле молчат, и это знание было единственным, что у них осталось общего.

Он стал считать гул. Сколько секунд между переменами тона. Девятнадцать. Двадцать. Девятнадцать. Ровно, как дышит что-то очень большое, спящее под землёй, которому снится, может быть, то же, что Кириллу.

Когда он проснулся — значит, всё-таки уснул, — в бараке стояла серая зябкая муть, та, которая бывает перед самым рассветом и после которой уже не заснёшь. Печка остыла, и холод из-под досок поднялся и занял весь барак. Плёнка на окне побелела изнутри от инея, и сквозь неё прожектор казался луной. Кирилл уже сидел на нарах, обхватив колени, и смотрел на дверь, и на лице у него было то, чего Егор боялся больше всего: не страх, страх он мог бы вынести. Ожидание. Та готовность, с которой ждут экзамена, которого не сдашь.

— Егор Иваныч, — сказал он шёпотом. — Сегодня, да?

Егор посмотрел на свои руки. Они не дрожали. Он не понял, хорошо это или плохо, и подумал, что скоро перестанет понимать и это.

— Сегодня, — сказал он.

* * *

Вывели в девять. Он знал, что в девять: часы были у конвоира, большие, чёрные, с резиновым ремешком, из тех, что носят рыбаки и спецназовцы в кино, и Егор прочёл циферблат, когда тот поднял руку поправить ремень автомата. Девять ноль три. Он зачем-то запомнил и минуты.

Утро стояло серое, неподвижное, без ветра, и в воздухе висела мелкая ледяная морось — она не падала, а оседала на ресницах, на губах, на шерсти телогрейки, и была солёной, как

слёзы, и Егор слизнул её с губы и подумал, что это, может быть, и есть слёзы, только не его. Двор «Порога» при свете оказался много больше, чем виделось ночью, и много беднее: бетонные плиты, залитые чёрной жижей в колеях, рельсы с ржавой полосой на них, вышки на расставленных ногах, как цапли, длинные склады из профнастила без единого окна. И одно здание, новое, трёхэтажное, облицованное светлой плиткой, с окнами, с жалюзи в окнах, с крыльцом, у которого стояла пепельница, — оно было здесь настолько чужим, так явно принадлежало другому миру, миру офисов и кофейных автоматов, что Егор посмотрел на него дважды. В окне на втором этаже кто-то стоял. Женщина, кажется: невысокая, тёмный силуэт на светлом. Она смотрела вниз, на двор, на них. Разглядеть он не успел — колонна тронулась, — но силуэт остался в нём, как остаётся на сетчатке лампа, на которую посмотрел.

Их было не семеро. Этап собирали со всех бараков, и колонна вышла человек на шестьдесят. По четверо. Руки за спину. Конвой по бокам, через каждые десять человек, автоматы поперёк груди, лица одинаковые, обветренные, молодые. Впереди шла машина — невысокая, угловатая, тёмно-зелёная, с пулемётом на крыше и решётками на фарах, как на зверинце. Егор никогда не видел таких вживую и названия не знал, только по кино, и подумал, что пулемёт смотрит не назад, на колонну, а вперёд. От кого защищают? От чего?

Машина ползла со скоростью шага, и за ней шли они, и шаги шестидесяти человек по мокрому бетону звучали как один шаг, медленный, тяжёлый, похоронный.

Сначала он увидел не врата. Сначала очередь.

Полувагоны стояли на рельсах один за другим, гружёные чем-то чёрным. Не углём — он знал уголь, уголь блестит иначе и крошится. Это было крупнее, глыбами с кулак и с голову, и на изломах оно тускло отсвечивало, как мокрый асфальт под фонарём, и от него тянуло тем самым горелым, только резче, свежее, живее, если это слово было здесь уместно. Егор насчитал четырнадцать, прежде чем ряд ушёл за угол склада. У головы состава стоял тепловоз, и машинист в оранжевом жилете курил в открытое окно кабины и смотрел на колонну лениво, без любопытства, как женщины у «Пятёрочки». Для него это тоже было каждый день. Для всех здесь это было каждый день, кроме них.

Потом проём.

Он не был похож ни на что, и Егор потом много раз пытался подобрать, на что он похож, и не подобрал. Ни на дверь, ни на арку, ни на экран, ни на дыру. Кусок воздуха в чистом поле, за двумя рядами колючки. Серый, с ровными, как по лекалу, краями, высотой с трёхэтажный дом, стоящий на снегу так, как не стоит ничто, у чего есть вес. Внутри было будто ещё одно поле, только снег там лежал иначе — ровнее, слежавшийся, старый, как снег, на который давно никто не ступал, — и свет там был другой, серее, и Егор не мог понять, почему, и от этого непонимания у него заныли зубы. Рельсы уходили прямо в серое и там, за краем, продолжались, как продолжаются под водой. Вдоль колючки, через равные промежутки, стояли вышки.

Он пересчитал вышки, потому что не знал, что ещё делать с тем, что видел.

Шесть.

Он ждал, что почувствует что-нибудь. Страх — настоящий, большой, который бывает раз в жизни. Или то, что хуже страха и чему нет имени. Или хотя бы тот холодок под ложечкой, который бывает у всех рядом с очень большим: с плотиной, с кораблём, с горой. Он ждал, и готовился, и чуть ли не хотел этого — пусть будет, пусть ударит, лишь бы что-то. Не почувствовал ничего. Оно просто стояло в мороси, серое, и ничего не делало, и к нему шли, и шли, и шли, шестьдесят человек по четверо, как в столовую. Это и было самое страшное. Не оно само. То, что к нему можно просто подойти.

У колючки колонну остановили. Человек с нашивкой — тот, с листом, — прошёл вдоль ряда, шевеля губами, сверил что-то с планшетом и махнул рукой. Первая четвёрка пошла. Вторая. Егор смотрел, как люди доходят до серого и оказываются по ту сторону. Не проваливаются, не тают, не вспыхивают. Просто делают шаг — и уже там, маленькие, в другом свете,

как фигурки в снежном шаре. Он считал четвёрки и считал шаги от колючки до края, чтобы не считать того, что останется от него через эти шаги. Сорок два.

Кирилл шёл слева. Егор слышал его дыхание: короткое, частое, со всхлипом на вдохе, как у ребёнка, который долго плакал и перестал, но тело ещё помнит.

— Егор Иваныч…

— Считай, — сказал Егор, не поворачивая головы. — Шаги. До края.

— Я не могу.

— Можешь. Один. Два.

— Один… два…

Кирилл считал вслух, шёпотом, сбился на десятом, всхлипнул и начал снова, и Егор считал вместе с ним, про себя, и это было единственное, что он мог для него сделать, и этого было чудовищно мало.

За пять шагов до края Егор понял, откуда запах. Горелым тянуло из проёма — так тянет из открытой двери в подвал, сырым и застоявшимся, — но это было не тряпьё, не костёр, не дым. Это было что-то иное, чему он не подобрал слова и не стал подбирать, потому что слово было бы хуже запаха.

За два шага он увидел, что серое не гладкое. Оно дрожало. Еле заметно, как дрожит воздух над раскалённым асфальтом в июле, — только было холодно, и морось оседала на нём и исчезала, не долетая, и он подумал: оно дышит. И подумал: оно ждёт. И подумал: не думай.

Потом он шагнул.

Он ждал удара. Или темноты. Или боли, или света, или чего угодно, к чему можно было бы приготовиться. Было так, будто заложило уши — как в самолёте на снижении, только сразу, одним толчком, с глухим звоном в затылке, — и ещё холод. Не снаружи. Изнутри. Будто он вдохнул не воздух, а снег, и снег пошёл по горлу вниз, в грудь, в живот, и там остался, и больше не растаял. Девять шагов. Он считал. Девять шагов серого, без верха и без низа, без права и лева, в котором не было ничего, кроме собственного сердца — громкого, близкого, как через стетоскоп, — и чужого дыхания рядом, Кирилла, которое он слышал так, как слышат дыхание человека, лежащего рядом в темноте. Он держался за это дыхание, как за поручень. На десятом шаге уши отпустило, и он оказался на другой стороне, и ноги его шли дальше сами, потому что остановиться было нельзя.

Свет был другой.

Не темнее — иной. Как в ноябре в четыре часа дня, когда солнце ещё где-то есть, но уже не греет и не светит, а просто присутствует за облаками, как присутствует в доме человек, который давно умер. Небо низкое, ровное, серое, без единого разрыва, без единого намёка на то, что за ним что-то есть. Снег под ногами был сухой, зернистый, и скрипел не так, как дома: тише, выше, суше, будто под ним была не вода, а соль, и Егор смотрел на свои следы и видел, что они не такие, как должны быть, — слишком чёткие, слишком белые по краям. Воздух пах холодом и горелым. Здесь оно было везде, в самом воздухе, как запах железа в метро, как запах больницы, который перестаёшь замечать через час и носишь потом в волосах. И больше ничем. Ни хвоей, ни дымом, ни землёй, ни тем мокрым, живым, чем пахнет любая осень в любом месте, где он бывал.

И было тихо.

Егор не сразу понял, чего не хватает. Колонна шла, конвой перекликался, машина впереди урчала, за спиной лязгал состав, — звуков было довольно. Не хватало чего-то под ними. Той подкладки, на которой держатся все остальные звуки, когда стоишь в поле: ветер в сухой траве, птица где-то, тот ровный звон и шорох, которого не слышишь, пока он есть, и который замечаешь, только когда он кончился, — как тиканье часов, остановившихся ночью.

Насекомых. Не было ни одного звука, какие издают насекомые. Ни одного. Он стоял посреди поля, в конце октября, когда дома ещё бывают мухи у окна и мошка над лужей, и мир

вокруг молчал, как молчит пустая, вымытая комната, из которой вынесли всё, даже пыль. И в этом молчании он вдруг услышал себя — как бьётся сердце, как шумит кровь в ушах, как скрипит кожа телогрейки, — и понял, что здесь он будет слышать себя всегда, и что это, может быть, и есть наказание.

— Не задерживаемся, — сказал конвоир. Голос у него был такой же, как у всех здесь: ровный, стёртый, не ждущий ответа.

Впереди, в километре, на пологом холме, стояло что-то. Забор, вышки, тёмные крыши, одна труба. Из трубы шёл дым — прямой, как по линейке, как рисуют дети, потому что ветра не было вовсе, ни малейшего. Дым был единственным, что здесь двигалось. Единственным, кроме них.

Егор пошёл дальше. Кирилл шёл рядом и уже не считал. Он смотрел на холм, на дым, и на лице у него проступило то, чего Егор не видел за два дня ни разу и чего, он понял, боялся больше, чем страха. Не страх. Что-то похожее на надежду: вот оно, дошли, значит, можно жить. От этого было хуже, чем от страха, потому что страх кончается, а это — нет, и Егор отвернулся, чтобы не видеть, как оно расцветает на чужом лице.

Девять шагов, думал он, глядя под ноги, на соляной снег, на свои слишком белые следы. Туда — девять.

Обратно он не считал. Обратно никто не ходил.

Глава 2. Приёмка

Дорога от врат шла в гору, и чем выше поднималась колонна, тем сильнее пахло.

Горелым — это он уже знал, к этому он за утро почти привык, как привыкают к шуму в ушах. Но теперь к горелому примешалось другое, сладковатое, тяжёлое, липкое, оседающее не в носу, а где-то в горле, на корне языка, так что хотелось сплюнуть и не получалось. Егор знал этот запах. Знал по одному-единственному случаю в жизни, о котором старался не вспоминать: когда ему было четырнадцать, у соседей снизу, у деда Вити, ночью загорелась квартира, и деда вынесли пожарные уже под утро, накрытого одеялом с головой, и потом неделю в подъезде пахло вот так — сладко и тяжело, и мать мыла ступени с хлоркой, и ничего не помогало. Он узнал этот запах раньше, чем понял, что узнал, — тело узнало, живот, — и живот снова сжался в тот холодный кулак, который разжимался только во сне.

Колонна шла медленно. Машина впереди буксовала на подъёме, и тогда все останавливались и стояли, и Егор смотрел под ноги, на колею, в которой вмёрзли чёрные камни, крупные, неровные, блестящие на изломах. Та же порода, что в вагонах. Её здесь, похоже, сыпали везде, как дома сыплют гравий, и дорога от этого была чёрной, как будто её нарисовали углём на белом листе.

Колония стояла на вершине холма, и с дороги была видна вся сразу — так, как видишь город с самолёта, когда он ещё игрушечный и не страшный. Серо-бурая, цвета старых досок и ржавого железа. Вышки по углам. Длинные приземистые крыши, вросшие в снег. И забор, который сначала показался Егору двойным, как во всех лагерях из кино, а потом, когда подошли ближе, оказался тройным: два ряда сетки с колючкой поверху, а между ними — полоса. Широкая, шагов в двадцать, чёрной голой земли. Без снега. Снег там не держался — или его счищали, или он таял, — и над полосой в нескольких местах поднимался дым, тонкий, прямой, как всё здесь.

По полосе ходили люди. В телогрейках, с длинными железными крюками и граблями, как дворники. Они не торопились. Что-то там лежало — вытянутое, тёмное, неподвижное, — и один из людей подцепил это крюком и потащил к куче, где горело, медленно, наклонившись, упираясь ногами, как тащат мешок с картошкой. Егор увидел сапог.

Обычный кирзовый сапог, с потёртым носом, повёрнутый к нему подошвой. На подошве налипла глина. Такой же, как на нём самом.

Больше он на полосу не смотрел. Смотрел на дорогу, на чёрные камни в колее, на собственные ботинки, на пятки идущего впереди, и считал шаги до ворот, как утром считал до края, и ненавидел себя за то, что это помогает. Четыреста семь. Он запомнил это число с той же беспомощной точностью, с какой запомнил девять ворон, семнадцать машин и сорок два шага. Четыреста семь шагов от того места, где он увидел сапог, до того места, где перестал о нём думать. Точнее, сделал вид, что перестал.

— Егор Иваныч, — сказал Кирилл сбоку, очень тихо. — Там человек был. На земле.

— Не смотри.

— Я уже посмотрел.

— Тогда не думай.

— А как?

Егор не ответил, потому что не знал. Он всю жизнь не знал, как, и всю жизнь делал вид, что знает, и у него получалось, и теперь он понял, что этого умения хватит ненадолго.

Ворота были железные, двустворчатые, выкрашенные когда-то в зелёное, а потом облезшие до рыжего. На них белой краской был намалёван ноль — большой, во всю створку, кривой, с подтёками, будто его рисовали широкой кистью наспех, на морозе, и краска стекала, пока не застыла. Больше на воротах не было ничего. Ни названия, ни номера, ни таблички, ни лозунга,

какие висят на любой зоне. Один ноль. Егор смотрел на него и думал, что это, наверное, и есть название, и что тот, кто его рисовал, был по-своему честен: здесь ничего не начиналось и ничего не кончалось, здесь было ноль.

Внутри их выстроили на плацу и держали час.

Плац был утоптан до твёрдости асфальта и тоже чёрен от той же породы. Морось перешла в редкий мокрый снег, хлопья садились на плечи, на шапки, на ресницы и не таяли, и через полчаса колонна стала пятнистой, бело-чёрной, как стадо. Никто не говорил. Конвой стоял по периметру и курил, пряча огоньки в кулаках. Где-то за бараками стучал молоток, ровно, с перерывами, и этот стук был единственным живым звуком, и Егор начал его считать, потому что больше считать было нечего, а не считать он уже не мог.

Вокруг плаца стояли бараки — длинные, одноэтажные, с низкими крышами, просевшими посередине, как спины старых лошадей. Из труб шёл дым. На стене каждого барака белел номер, намалёванный той же кистью, что ноль на воротах: «1», «3», «7», «11». Дальше, за бараками, поднимались крыши повыше: что-то вроде цеха с закопчёнными окнами, что-то с антенной. И одно двухэтажное здание из серого кирпича, с решётками на окнах и красным крестом на двери, свежим, ярким, недавно подновлённым. Крест был единственным новым здесь. Всё остальное было старым, давно и навсегда, и Егор подумал, что по этому кресту можно понять, что здесь важно, а что нет.

И ещё одно место он заметил, потому что не заметить его было нельзя, как нельзя не заметить в комнате человека, который на тебя смотрит.

В дальнем углу, за собственным забором внутри общего, стоял барак без номера. Такой же, как остальные, — длинный, приземистый, с трубой. Только забор вокруг него был новее, и колючка на нём не ржавая, а серебристая, блестящая, как ёлочный дождик. И стрелок на вышке над ним стоял не так, как стояли стрелки на других вышках. Те стояли расслабленно, привалившись к перилам, с автоматом на плече, смотрели кто куда, один курил. Этот смотрел вниз. Во двор того барака. И ствол у него смотрел туда же и не двигался.

Охраняли не от тех, кто снаружи. Охраняли тех, кто внутри.

Егор отвёл взгляд — так же, как в автозаке отводил его от татуировки. Медленно, без рывка, как будто просто устал смотреть в одну точку.

Распределяли по номерам. Человек с планшетом — здесь планшеты были у всех, кто что-то решал, и Егор уже научился различать людей по этому признаку, как различают собак по ошейникам, — выкрикивал фамилию и номер барака, и конвоир выталкивал названного из строя лёгким тычком в спину. Семеро из пензенского автозака разошлись по четырём баракам.

— Сажин. Третий.

Он вышел из строя и встал, где показали.

— Зотов. Третий.

Слева выдохнули — громко, по-детски, с облегчением, как выдыхают, когда в классе вызвали не тебя. Егор не обернулся. Он знал, что сейчас увидит на лице Кирилла, и не хотел этого видеть, потому что это означало бы признать: да, мы вместе, да, я тебе теперь что-то должен. Долг стал тяжелее, вот и всё. Он приписал его к тем, что уже числились за этот день, — девять ворон, четыреста семь шагов, сапог подошвой вверх, — и пошёл.

Третий барак стоял ближе всех к полосе. Это он понял по запаху, ещё не дойдя.

* * *

Внутри барак был длинный, тёмный и тёплый, и тепло было первым хорошим, что Егор почувствовал за три недели. Оно ударило в лицо, как ударяет запах хлеба из пекарни, и у него на секунду подкосились колени — от какой-то детской, постыдной благодарности, которую он тут же задавил.

Тепло шло от печки в дальнем конце. Печка была настоящая — не буржуйка, как на «Пороге», а кирпичная, большая, обмазанная глиной, побелённой когда-то и давно посерев-

шей, с чугунной плитой наверху, на которой стоял закопчённый чайник, и в чайнике что-то тихо булькало. Тепло расходилось по проходу между двухъярусными нарами, густое у печки, жидкое к середине, и у двери почти исчезало, и Егор сразу, ещё не дойдя до середины, понял эту арифметику: у двери нары были свободны. У печки — нет.

Нары на сто человек. Он посчитал их, а не людей, потому что людей в бараке в этот час было немного — десятка полтора, лежали, сидели, один чинил что-то, держа иглу у самого носа. Остальные были где-то ещё. Где — Егор пока не знал и боялся догадываться. Пахло здесь иначе, чем снаружи: солёным потом, портянками, прелой одеждой, сохнущей у печки, махоркой, кислым хлебом, мокрой шерстью. Так пахнет любое место, где спят сто мужчин, — казарма, общага, плацкарт, — и сквозь это, тонко, ниткой, пробивалось всё то же горелое, но здесь, внутри, среди человеческого, оно было почти домашним, как запах печки в деревенском доме.

У печки сидел старик.

Он сидел на табурете — единственном табурете в бараке, это Егор заметил потом, — спиной к стене, боком к огню, и смотрел на дверь. Когда новые вошли, он не пошевелился. Сухой, жилистый, как корень, вытащенный из земли, с седым ёжиком волос и лицом в таких глубоких складках, что оно походило на кору старой липы. Рядом с табуретом стояла палка — не казённая, самодельная, из тёмного дерева, с набалдашником, отполированным ладонью до того янтарного свечения, которое бывает у дерева, если держать его в руке годами. Левая нога у старика была вытянута вперёд и неподвижна, как чужая. В руке он держал жестяную кружку, от которой шёл пар, и пахло из неё так густо, горько и чёрно, что Егор узнал чифирь, хотя ни разу его не пробовал, — узнал по запаху из чужих рассказов, по тому, как этот запах описывали на пересылке.

Конвоир довёл их до двери, сказал «третий, принимай» и ушёл, и дверь за ним закрылась с тем звуком, с каким закрываются двери, которые открываются только снаружи.

Никто в бараке не поднялся. Не повернул головы. Тот, что чинил, продолжал чинить. Это, понял Егор, и был приём.

— Новые к двери, — сказал старик.

Сказал негромко, но в бараке стало тише, хотя тихо было и так: просто тишина стала другой, внимательной, как в классе, когда входит завуч. Голос у старика был низкий, хрипловатый, без нажима, без угрозы — голос человека, которому не нужно повышать голос, потому что его и так слышат.

— Нары справа. Левые заняты. Зотов — наверх. — Палка чуть приподнялась от пола и указала на Егора, коротко, как указка. — Ты подойди.

Откуда он знал фамилию Кирилла, Егор не стал думать. Он подошёл. Ближе к печке тепло стало почти горячим, и кровь ударила в лицо, в щёки, в уши, и они загорелись, как в детстве, когда приходишь с мороза. Старик смотрел на него снизу вверх. Глаза у него были светлые, выцветшие, водянисто-голубые, как у очень старых людей или очень старых собак, и внимательные — так смотрит человек, который всю жизнь взвешивает вещи на глаз и редко ошибается больше чем на грамм.

— Сто пятьдесят девятая?

Егор не понял, откуда. Потом вспомнил бирку на груди. Здесь все читали бирки, как в городе читают вывески.

— Да.

— Бухгалтер?

— Да.

Этого на бирке не было.

— Считать умеешь?

Вопрос прозвучал так же ровно, как предыдущие, и Егор не понял, о чём его спрашивают. Это могла быть насмешка. Могла быть проверка. Могло быть что-то третье, чего он не знал, — какой-то здешний смысл у слова «считать», вроде того, как на пересылке «прописка» означала совсем не то, что в паспортном столе.

— Умею.

— Не на бумажке. В голове. Сколько человек в бараке?

Егор не стал оглядываться. Он уже знал — посчитал, пока шёл от двери, машинально, как дышат.

— Нары на сто. Людей сейчас четырнадцать. С нами — двадцать один.

Старик помолчал секунды три. Отпил из кружки, не поморщившись, хотя от одного запаха у Егора свело скулы. Поставил кружку на плиту, рядом с чайником, аккуратно, ручкой к себе.

— Нас сто два, — сказал он. — Двое на нарах не спят. Спят на полу, у печки. У них ноги. Это ты узнаешь завтра. — Он помолчал, глядя на огонь. — Меня зовут Хромой. Так зовут все, и ты будешь. Как по паспорту — не надо тебе. Здесь всё так: кто ты был — не важно. Важно, что ты нам. Барак — это мы. Остальное — это ты.

Он говорил медленно, по одной фразе, и между фразами делал паузы и смотрел на Егора, будто каждая фраза была кирпичом, и он клал её и проверял уровнем, прежде чем класть следующую. Егор молчал. Молчать он умел лучше всего на свете. Он молчал на допросах, молчал на суде, молчал, когда мать спрашивала, что будет с деньгами, и это молчание было единственным, что у него никто не отнял.

— Условие такое, — сказал Хромой. — Ты будешь считать мне барак. Пайку. Мешки. Кто кому должен, кто сколько вынес, кто за кого вышел на смену. Каждый вечер — мне, вот сюда. — Он постучал пальцем по колену. — Без бумажки. Бумажки здесь находят, а за бумажку здесь бывает хуже, чем за нож. За это у тебя будет место. — Палка качнулась в сторону нар у печки, где лежал кто-то, укрывшись с головой, и только ступни в шерстяных носках торчали из-под одеяла. — Не это. Это надо заслужить. Но и не у двери. У двери к весне половины не будет.

Он сказал это так, как говорят о погоде на завтра. Не пугая, не предупреждая — сообщая. Егор посмотрел на нары у двери, на которые показали новым, и подумал о Кирилле, которого туда отправили, наверх, к холоду. Подумал — и отложил, как откладывают счёт, который нечем оплатить.

И ещё подумал, что это не условие. Это приговор, только обёрнутый так, чтобы в него можно было войти самому, своими ногами, и потом не на кого было пенять. Хромой предлагал ему стать нужным. Здесь, понял он, это было единственное, что отделяло человека от двери, а дверь — от полосы.

И подумал, что входить придётся. Что выбора нет, а то, что выглядит как выбор, — это вежливость старика, который мог бы и не спрашивать.

— Хорошо, — сказал он.

— Я не спрашивал, хорошо ли. — Хромой впервые чуть повернул голову к огню, и на складках его лица задрожали рыжие пятна, и на секунду лицо стало совсем старым, древним, как у деревянного идола. — Я сказал, как будет. Теперь ты знаешь. Иди.

Егор повернулся.

— И ещё, — сказал Хромой ему в спину. Негромко, но так, что Егор остановился, будто его взяли за плечо. — Про тот барак. Который за забором. Видел?

— Видел.

— Не спрашивай. Ни меня, ни кого. Здесь вообще не спрашивают. Кто спрашивает — тому отвечают. — Пауза. — А ответы здесь дорого стоят. Дороже, чем у тебя есть.

На нарах у двери было холодно. Сквозняк из-под двери шёл понизу, как вода, и лизал доски, и доски были сырыми, как на «Пороге», только здесь на них лежал матрас — тонкий,

набитый чем-то слежавшимся, комковатым, в бурых пятнах, о происхождении которых Егор запретил себе думать, и пахнущий чужим телом, чужим потом, чужим страхом, впитавшимся за годы. Сколько людей лежало на этом матрасе до него? Где они теперь? Он лёг, не раздеваясь, лицом к стене, и почувствовал, как холод от доски проходит сквозь матрас, сквозь телогрейку, в бок.

Кирилл забрался наверх. Доски прогнулись, и сверху посыпалась труха, мелкая, сухая, попала Егору за шиворот.

— Простите, — шёпотом сказал Кирилл.

— Ничего.

Помолчали. Потом снова шёпот сверху, совсем тихий:

— Егор Иваныч. А он кто?

— Хромой.

— Ну да. Это я слышал. А кто?

Егор подумал. Он мог сказать «старший барака», или «смотрящий», или «тот, кто здесь давно». Всё это было правдой, и всё было мимо.

— Тот, кто решает, где ты спишь, — сказал он. — Спи.

* * *

Барак наполнился под вечер, и Егор услышал это раньше, чем увидел.

Сначала шаги снаружи — много, тяжёлые, шаркающие, сотня ног, идущих не в ногу, как идут люди, у которых не осталось сил даже на то, чтобы попадать в шаг. Потом лязг засова, долгий, ржавый. Потом в дверь вошёл холод — густой, плотный, с запахом мороза и гари — и вошли люди.

Они были чёрные. С головы до ног — телогрейки, штаны, сапоги, руки, лица, — всё было покрыто одной и той же чёрной пылью, тонкой, въевшейся, и лица от этого были одного цвета с одеждой и различались только глазами — белками, которые светились на этих лицах, как у шахтёров на старых фотографиях, и губами, потрескавшимися, розовыми там, где их облизывали. Они шли по проходу молча, не глядя на новых, не глядя ни на что, и валились на нары, как валятся мешки с плеча, и некоторые засыпали раньше, чем успевали снять сапоги, и так и лежали, в сапогах, с открытыми ртами. От них пахло потом, мокрой ватой и горелым. Горелым свежим, резким, как от кострища, которое только что залили водой.

Он считал их, пока входили. Это было как дышать. Восемьдесят. Потом ещё трое — их вели под руки, и ноги у них подгибались, и голова одного болталась, как у пьяного, только он не был пьян. Потом дверь закрыли.

Восемьдесят три. Он сложил с теми, кто был. Сто два, вместе с двумя на полу. Хромой не ошибся. Хромой, понял Егор, вообще никогда не ошибался в этом, и экзамен был не в том, чтобы сосчитать, а в том, чтобы не соврать.

— Это смена, — сказал кто-то рядом.

На соседних нарах, через проход, сидел человек лет тридцати пяти, с худым, костистым лицом, на котором кожа была натянута, как на барабане, и глубоко посаженными глазами, тёмными, умными и очень усталыми. Он разматывал на ноге серую от грязи портянку, и разматывал долго, слой за слоем, как разматывают бинт на ране.

— Дневная. Ночная уже ушла, когда вас вели. Не видел?

— Нет.

— Увидишь. Каждый вечер одно и то же. Одни туда, другие оттуда. Как часы. — Он размотал портянку до конца и посмотрел на свою ступню: мертвенно-белую на фоне чёрной ноги, с синими ногтями и красной стёртой полосой на пятке. Посмотрел без жалости, с каким-то профессиональным интересом, как механик смотрит на изношенную деталь. — Карьер. Тебя куда?

— Не знаю.

— На карьер, — сказал он, не дожидаясь. — Новых всегда на карьер. Промзону заслужить надо — или купить. — Он кивнул в сторону печки, не поворачивая головы. — Тебе есть чем платить?

Егор не ответил. У него было девять лет, бирка и умение считать, и он не знал, что из этого здесь сойдёт за валюту.

Человек хмыкнул. Не зло — устало, почти сочувственно, как хмыкает врач, когда больной говорит, что у него всё в порядке.

— Ну, значит, на карьер. Ничего. Там тоже живут. Некоторые. — Он лёг на спину, закинул руки за голову, уставился в потолок. Помолчал. — Бурый.

— Что?

— Бурый. Это я. — Пауза. — Будешь спрашивать — спрашивай меня. Не Хромого. Хромой не любит, когда спрашивают. А я — ничего. Я здесь шестой год, я уже никого не люблю и никого не боюсь, мне всё равно.

— А почему Бурый?

Бурый скосил на него глаз — тёмный, блестящий в полутьме.

— Вот ты сейчас спросил, — сказал он. — Видишь, как просто выходит. Привыкай не спрашивать. Даже у меня.

И отвернулся к стене.

* * *

Снаружи завыла сирена — коротко, на одной ноте, и сразу оборвалась, будто кто-то зажал ей рот.

Никто в бараке не пошевелился. Бурый спал или делал вид. Хромой у печки поднял кружку, отпил и поставил обратно. Это было обычно. Это было каждый вечер. Егор посмотрел на Кирилла — тот свесил голову с верхних нар, и глаза у него были круглые, — и покачал головой: не дёргайся. Потом встал и подошёл к окну.

Окно было маленькое, двойное, с мутным стеклом. Между рамами лежал слой серой пыли и сажи — и ничего больше. Ни одной дохлой мухи, ни одного засохшего комара, какие лежат между рамами в любом доме, на любой даче, и Егор вспомнил: здесь их нет. Здесь не было даже этого. Он протёр стекло рукавом, и стало видно.

Сумерки здесь наступали не так, как дома. Разницу он уловил не сразу, а уловив, почувствовал неловкость, которой не мог объяснить. Дома темнеет с одной стороны — с востока, а на западе ещё долго тлеет закат, и небо там жёлтое, розовое, зелёное у самого края. Здесь закатов не было. Свет убывал со всех сторон сразу, ровно, как убывает вода из ванны, — небо просто становилось всё серее и серее, одинаково везде, будто кто-то медленно поворачивал реостат, и не было ни солнца, ни места, где оно село, ни того последнего луча, ради которого стоит смотреть.

Отсюда, с холма, через тройной забор, была видна дорога — та, по которой их вели утром. Она шла вниз, к серому проёму, который отсюда казался небольшим, с почтовую марку, но всё равно был виден, как бельмо. И по дороге шли две колонны.

Одна — сюда, вверх, к колонии. Чёрные фигурки, медленно, по четверо, с машиной впереди. Вторая — от колонии вниз, и Егор понял, что это ночная, идущая на смену. Они встречались на середине, у поворота, расходились, как расходятся две реки, — одна прижималась к одной обочине, вторая к другой, — и на несколько минут на дороге было столько людей, что она становилась тёмной, шевелящейся, живой, как муравьиная тропа.

А ниже, у проёма, шёл состав.

Он вползал в серое — медленно, вагон за вагоном, и каждый вагон, доходя до края, просто исчезал, будто его стирали резинкой. Тепловоз уже ушёл туда, его не было видно, а вагоны всё шли и шли, гружёные чёрным, и Егор считал. Двадцать четыре. Двадцать четыре полувагона чёрной породы ушли в проём за то время, пока две колонны расходились на дороге. Утром

он видел четырнадцать — значит, грузили весь день. Значит, вот ради чего. Ради этих двадцати четырёх вагонов — все эти бараки, вышки, полоса, сапог подошвой вверх, восемьдесят три чёрных человека, которые валятся на нары, не снимая сапог. Он сложил это — люди, вагоны, вышки — и у него получилось какое-то число, он не знал какое, но чувствовал, что оно большое и что он в нём — где-то после запятой, в тех знаках, которые отбрасывают при округлении.

И тут, когда последний вагон исчез, он увидел движение на полосе.

Не там, где жгли. Дальше, вдоль внешней сетки, где полоса уходила за угол, в серую мглу. Он сначала подумал — человек из наряда, с крюком. Потом понял, что нет.

Человек шёл вдоль сетки. Медленно, с остановками, будто прислушиваясь. Без крюка, без телогрейки даже — в чём-то тёмном, рваном, висящем лохмотьями. Он шёл неровно, заваливаясь на одну сторону, и руки у него висели вдоль тела и болтались при каждом шаге, как пустые рукава. Потом он остановился. Прямо напротив третьего барака. Шагах в тридцати от окна, за сеткой.

И повернулся.

Егор увидел лицо, и в первую секунду не понял, что видит, потому что мозг отказывался собирать это в лицо. Оно было чёрным — не от пыли, как у тех, кто вернулся со смены, а иначе: обожжённым, обугленным, в трещинах, как корка на пережаренном мясе, и местами сквозь эту корку проглядывало что-то розовое и влажное. Волос не было. Ушей, кажется, тоже. А глаза были белые. Не закрытые и не закатившиеся — белые целиком, мутные, как у варёной рыбы, без зрачков.

И этими глазами оно смотрело на барак.

Не на Егора. Егор потом много раз убеждал себя, что не на него, что оно не могло видеть его за грязным двойным стеклом, в темноте, с тридцати шагов. Оно смотрело на барак. На тепло. На запах восьмидесяти трёх живых людей, которые спали за этой стеной. Оно стояло, покачиваясь, и голова его медленно поворачивалась туда-сюда, как поворачивается голова у слепого, когда он ищет источник звука.

Егор не дышал. Он стоял у окна, и руки его лежали на подоконнике, и он чувствовал, как под ладонями дерево становится скользким от пота, и не мог их убрать.

На вышке зажёгся прожектор. Белый луч упал на полосу, прошёл вдоль сетки, нашёл. Фигура не шевельнулась — не зажмурилась, не отвернулась от света, который бил ей прямо в белые глаза. Ей было всё равно.

Выстрел был один. Сухой, короткий, как щелчок кнута, — и голова у фигуры дёрнулась, и что-то тёмное плеснуло на сетку, и фигура села. Не упала — именно села, мягко, будто устала стоять и решила отдохнуть, и так и осталась сидеть, привалившись к сетке боком, с опущенной головой.

Прожектор погас.

Егор стоял у окна. Он не мог отойти. Он слышал, как у него стучат зубы, и не мог их остановить, и подумал отстранённо, будто о ком-то другом: так вот как это бывает. Вот как бывает, когда страшно по-настоящему. Не холод под ложечкой. Зубы.

— Шатун, — сказал кто-то у него за спиной.

Он обернулся. Бурый не спал. Лежал, как лежал, на спине, руки за головой, и смотрел в потолок.

— Что?

— Шатун. Через внешнюю пролез, видать. Бывает. — Бурый зевнул — длинно, с хрустом в челюсти. — Утром сожгут. Отойди от окна, бухгалтер. Не любят здесь, когда у окна стоят. Да и смотреть там больше не на что.

Егор отошёл. Ноги были ватные, и он сел на свои нары, на чужой матрас, обхватил колени руками, как Кирилл утром, и сидел так.

Шатун. Слово было. Оно наконец прозвучало вслух — не то, которое он боялся, а другое, здешнее, будничное, как «сосед» или «дождь». И от этого будничного слова было в сто раз хуже, чем было бы от того, книжного, страшного, которое так никто и не произнёс. Потому что то слово было из кино. А это было отсюда. Это говорили, зевая.

В бараке храпели. У печки потрескивало. Хромой сидел на табурете и смотрел в огонь, и Егор не мог понять, слышал ли он выстрел, или для него это тоже было — как часы, как смена, как двадцать четыре вагона.

Сверху свесилась голова Кирилла.

— Егор Иваныч, — прошептал он, и шёпот у него дрожал. — Это был… это был человек?

Егор долго молчал.

— Был, — сказал он наконец.

Голова исчезла. Сверху долго было тихо, потом послышалось сдавленное, частое дыхание, и Егор понял, что парень плачет — беззвучно, в матрас, как плачут в казарме, где нельзя, чтобы услышали. Он лежал и слушал этот плач и ничего не делал. Он не знал, что можно сделать. Сказать «всё будет хорошо» было бы ложью, а он не хотел врать, по крайней мере сегодня. Сказать «считай доски» — он уже говорил, и это работало на «Пороге», где ещё можно было верить, что дальше будет как-нибудь. Здесь было это самое «дальше».

Завтра карьер, подумал он. Бурый сказал — новых всегда на карьер. Завтра он увидит, откуда приходят чёрные люди, которые валятся на нары в сапогах. Откуда берётся порода, ради которой двадцать четыре вагона. Откуда приходят такие, как тот, у сетки.

До утра он не спал. Лежал и считал — не барак, не доски, не гул, а выстрелы. Их было ещё четыре за ночь, далёких, с разных сторон, и каждый раз он вздрагивал и думал: ещё один сел. Ещё один отдохнул. И каждый раз сверху замирало дыхание Кирилла, который тоже не спал и тоже считал, и они лежали так, один над другим, разделённые доской в два пальца толщиной, и считали одно и то же, и ни один не сказал другому ни слова.

Глава 3. Ведомость

Марина Аркадьевна Левина стояла у окна своего кабинета на втором этаже и смотрела, как этап уходит в проём.

Она делала это каждый раз, когда бывала на «Пороге» в день отправки, и каждый раз говорила себе, что это не ритуал, а наблюдение: нужно видеть своими глазами то, что потом будешь считать в таблице, иначе таблица начинает жить отдельно от людей и врать. Так она это формулировала. И знала, что формулировка неточная — что на самом деле это именно ритуал, та же свечка в церкви, только без церкви и без свечки, — но исправлять формулировку не собиралась. В её возрасте и в её положении человек имеет право на один самообман, если он не влияет на результат.

Шестьдесят одна фигура в телогрейках, по четверо, руки за спину. Машина сопровождения впереди, на скорости пешехода. Отсюда, сверху, сквозь жалюзи и двойное стекло, люди казались одинаковыми — одного роста, одной походки, одного цвета, — и это облегчало дело: одинаковых можно считать, а считать она умела лучше всего на свете, лучше, чем говорить, лучше, чем жить.

Двадцать три из шестидесяти одного были отмечены.

Она знала это, не глядя в список, потому что список составляла сама — вчера вечером, здесь же, за этим столом, с чаем и лимоном, под лампой, когда все уже разъехались и объект затих. Двадцать три человека с пометкой «ДКМ-тп», расставленные по колонне так, чтобы ни один конвоир, глядя сверху или сбоку, не увидел в их расположении никакой закономерности: не кучкой, не через одного, не в голове и не в хвосте, а с тем рассеянием, которое выглядит как случайность и случайностью не является. Конвой не должен был знать, кто есть кто. Конвой и не знал.

За восемь лет никто ни разу не спросил, почему медкомиссия на «Пороге» интересуется донорским регистром. Ни один врач, ни один начальник караула, ни одна проверка. Этот вопрос лежал на поверхности, его мог задать любой, у кого есть минута свободного любопытства, — и ни у кого этой минуты не нашлось. Левина думала об этом часто, и каждый раз приходила к одному и тому же: дело не в страхе. Дело в том, что человеку, который восемь часов в сутки заполняет формы, абсолютно всё равно, что в этих формах написано. Он видит графу, а не вопрос. Это говорило о людях больше, чем любая её статистика, и это было единственное её открытие, которое она никогда не внесла бы ни в один отчёт.

Последняя четвёрка дошла до края и исчезла. Серое сомкнулось за ней так же ровно, как размыкалось, — вернее, не сомкнулось, потому что ничего и не размыкалось, оно просто стояло, и люди в него входили, как входят в воду.

Она постояла ещё минуту, глядя на пустой снег перед проёмом, на вышки, на рельсы, на машину сопровождения, которая разворачивалась и ползла назад, к складам. Ей было пятьдесят один год, у неё ныла поясница от стояния, и она думала о том, что надо сесть, и не садилась.

Потом задёрнула жалюзи и вернулась к столу.

Кабинет был небольшой, тёплый, с хорошим светом из двух окон, и это было единственное помещение на всём «Пороге», которое она обставляла сама и за которое платила из тех денег, которые здесь называли премией. Стол. Два кресла — одно для неё, одно для посетителя, и посетителей было в среднем четыре в месяц. Шкаф с папками, запертый. Кушетка, на которой она спала, когда не успевала доехать до гостиницы в Зубовой Поляне, — и она не успевала доехать примерно в половине случаев, и кушетка давно стала удобнее, чем гостиничная кровать, и это тоже о чём-то говорило.

На стенах ничего.

Она пробовала повесить репродукцию в первый год — Шишкина, сосны, то, что вешают в кабинетах, чтобы казалось, что здесь живёт человек, — и сняла через неделю. Репродукция смотрела на неё. А ей нужно было, чтобы на неё не смотрели: ни сосны, ни фотография внучки, ни чей-нибудь портрет. Достаточно было того, что на неё смотрели все остальные восемь часов в день.

Планшет лежал на столе рядом с чашкой — той, со сколотым краем, которую она возила с собой третий год, потому что из казённых пить было противно. Она взяла планшет, открыла список и провела по нему пальцем сверху вниз, не читая, просто чтобы почувствовать, что он весь на месте. Шестьдесят одна строка. Фамилия, инициалы, год рождения, статья, пометка.

Строки с пометкой она видела так, как видят знакомые лица в толпе, — не останавливаясь, но узнавая. Васильев. Зотов. Ибрагимов. Сажин. Тихонов. Палец шёл дальше.

Из двадцати трёх, подумала она привычно, к Новому году укушены будут четверо. Из четверых трое поднимутся в первые сутки. Останется один. Если останется. Статистика восьмого года давала один и три десятых, и это было хорошо — лучше, чем шестой год, когда было ноль и восемь, — но за десятыми долями стояли люди, которых не существовало, и она знала их имена заранее, не зная имён.

Телефон на столе зазвонил ровно в девять сорок.

Она знала, что это он, потому что он звонил ровно — всегда, как часы, как расписание электрички, — и однажды она подумала, что это, возможно, единственная форма вежливости, которая ему доступна: не опаздывать и не звонить раньше. Телефон был серый, с витым шнуром, старого образца, и трубка у него была тяжёлая, как гантель. Она сняла её и зажала плечом, как делала всегда, потому что руки должны быть свободны.

— Марина Аркадьевна.

— Сергей Сергеевич.

— Этап ушёл?

— Только что.

— Сколько?

— Двадцать три.

Он помолчал. Она слышала, как он дышит — ровно, неглубоко, как дышит человек, который не торопится и хочет, чтобы это было слышно. За восемь лет она изучила его дыхание лучше, чем его лицо, которое видела четыре раза.

— Это меньше, чем в прошлом месяце.

— Это столько, сколько было в регистре среди прибывших. Я не могу делать их из воздуха.

— Я не прошу из воздуха. Я прошу подумать, не слишком ли узко вы берёте. — Пауза, в которую он, она была уверена, что-то записал. — Регистр покрывает восемь процентов взрослого населения. Остальные девяносто два, по-вашему, не годятся?

Она смотрела на свою руку, лежащую на планшете. Рука была пятидесятилетняя, с пигментными пятнами и выступающими венами, и ногти были коротко острижены, и это была рука человека, который сорок лет что-то решает за других.

— По-моему, я не знаю, годятся ли они, — сказала она. — А по регистру знаю. Разница между «знаю» и «не знаю» в нашем деле измеряется не в процентах, Сергей Сергеевич. Она измеряется в людях, которых потом сжигают на полосе. Если вы готовы увеличить эту цифру ради объёма — скажите мне это письменно.

Он помолчал снова, но теперь иначе. Она научилась различать его паузы так же, как дыхание: есть пауза, когда он думает; есть пауза, когда он даёт тебе услышать самого себя; и есть вот эта — пауза человека, который решил не обижаться, потому что обида отнимает время, а времени у него, в отличие от неё, действительно нет.

— Я не готов, — сказал он. — Пока. Что с опытом?

— Опыт назначен на конец ноября. Носитель пятой ступени подготовлен, группа сопровождения укомплектована. Площадка — у северного склона.

— Почему не раньше?

— Потому что носитель пятой ступени у нас один, Сергей Сергеевич. Один. Если я его потеряю на поспешном выходе, второго вы мне дадите не раньше чем через год. А скорее никогда, потому что второго такого может просто не случиться.

— Хорошо. Конец ноября.

И потом, уже другим тоном — короче, ниже, почти человеческим:

— Вы там спите вообще?

Она посмотрела на кушетку в углу, на смятый плед, который не успела сложить.

— Нет, — сказала она. — До свидания.

Она положила трубку и некоторое время смотрела на телефон. Он был серый, с витым шнуром, и в нём не было ничего, кроме того, что он соединял её с человеком, который мог всё: дать деньги, дать людей, дать разрешение, отнять всё это за один день и не объяснить. Она подумала, что ненавидит его, и тут же, по старой привычке, поправила себя: нет, не его. Она ненавидит зависимость от него, а это другое и честнее.

Потому что он был нужен. Без него не было бы ресурсов, без ресурсов не было бы Института, без Института не было бы данных, а без данных всё, что она сделала за восемь лет, превращалось в то, чем это называлось бы на суде. Не в науку. В другое слово, короткое, из восьми букв, которое она однажды вывела на полях черновика и тут же зачеркнула так, что порвала бумагу.

Она допила чай. Он остыл и стал кислым от лимона — лимон всегда делает остывший чай кислым, это химия, в этом нет ничего особенного, — и она выпила его весь, потому что не любила оставлять.

* * *

Связь с «Нолем» шла по кабелю, протянутому через проём, — единственное, что проходило через проём в обе стороны без досмотра, не считая породы. Кабель положили на восьмом году, до этого была радиосвязь с помехами, и Левина помнила, как радовалась этому кабелю, как ребёнок игрушке. Голос Рябова в трубке был чистым, без шорохов, и от этого казалось, что он сидит в соседней комнате, а не в другом мире, за гранью, которую никто не умеет объяснить.

— Четыре укуса за неделю, Марина Аркадьевна. Трое на карьере, один на полосе. Двое поднялись в первые сутки, по протоколу. Один умер без подъёма — сердце, ему было пятьдесят четыре, он вообще не должен был на карьере работать. Один держится.

— Сколько держится?

— Третьи сутки.

— Температура?

— Тридцать пять и две. Стабильно, третий замер.

— Пометка?

Пауза.

Рябов не любил этот вопрос. Она знала, что он задаёт его себе сам, каждый раз, когда укушенного вносят в изолятор, — и каждый раз надеется, что ответ будет «нет», потому что «нет» означает простую смерть, понятную, с бумагой и актом, а «да» означает то, о чём он предпочитает не думать и о чём они оба никогда не говорили вслух за шесть лет.

— Есть пометка.

— Фамилия?

— Ибрагимов. Этап от двенадцатого сентября.

Она нашла его на планшете прежде, чем Рябов договорил. Ибрагимов Р. Т., восемьдесят девятого года, сто одиннадцатая. Сдавал кровь в армии, по приказу, всей ротой, в девятом году — она помнила эту строчку, потому что помнила все строчки.

Это было не достоинство. Это была особенность, с которой она жила всю жизнь, как живут с родинкой на лице: сначала стесняются, потом не замечают, потом обнаруживают, что она определила всё. Когда-то, в онкологии, в той жизни, где у неё был халат с именной биркой и больные, которые её благодарили, старшая сестра — Нина Петровна, грузная, добрая, пахнущая валокордином — сказала ей: «Мариночка, с такой памятью нельзя работать с детьми. Вы их всех унесёте домой». Она тогда не согласилась и даже обиделась. Теперь, иногда, в такие минуты, как эта, она думала, что Нина Петровна была права, — только речь шла не о детях.

— Если к утру не поднимется, переводите в блок, — сказала она. — Тормоз по стандартной схеме. Рацион номер два.

— Марина Аркадьевна.

— Да.

— Он спрашивает, что с ним.

Она закрыла глаза. На одну секунду, не больше.

— Все спрашивают, Олег Петрович. Скажите, что он под наблюдением.

— Он спрашивает, почему его не выпускают к своим. — Голос Рябова стал ниже и быстрее, как у человека, который решил сказать до конца, пока не передумал. — Он говорит, у него мать в Казани. Он говорит, он же не чувствует ничего, он здоровый, он нормально себя чувствует, лучше, чем до. Он это повторяет уже вторые сутки, Марина Аркадьевна. Через дверь. Я мимо хожу.

Она помолчала. На столе лежала папка с отчётом за октябрь, и она открыла её, не глядя, просто чтобы занять руки, и увидела колонку цифр, которую сама же выводила три дня назад, и цифры ничего не значили.

Можно было сказать: не ходите мимо. Можно было сказать: это не ваша забота, Олег Петрович, пейте дальше. Можно было ничего не говорить.

— Скажите ему правду, — сказала она. — Что он заражён. Что заражение у него стабилизировалось и это редкость. Что к своим он не вернётся, потому что опасен для них. Всё это правда, и этого достаточно, чтобы объяснить ему то, что его касается. Остальное не объясняет ничего — ни ему, ни мне.

— А про мать?

— Про мать ничего. У вас нет для него ничего про мать. У меня тоже.

Рябов молчал. Она слышала, как он дышит в трубку, и слышала, как на том конце что-то булькнуло — чайник или бутылка. Бутылка. Об этом она не заговорит ни сегодня, ни вообще.

— Понял, — сказал он наконец.

— И ещё. Особый отряд — в голову колонны, как обычно. Завтра на карьере новый этап. Пусть идут первыми.

— Как обычно, — сказал Рябов.

Он сказал это ровно, без выражения, тем самым голосом, каким произносят фразу, за которой стоит что-то, о чём договорились молчать. И отключился первым, чего не делал никогда.

Она положила трубку и записала: «Ибрагимов Р. Т. — третьи сутки, стабилен, перевод в блок утром. Особый отряд — голова колонны».

Запись заняла одну строку. Она посмотрела на эту строку и подумала, что в ней помещаются мать в Казани, человек, который ходит за железной дверью и говорит через неё, что чувствует себя лучше, чем до, и ещё несколько человек, которых завтра поставят за спиной тому, кто идёт первым. Всё это помещается в одиннадцать слов. Так и должно быть. Отчёт, в котором видно людей, — плохой отчёт, по нему нельзя принимать решения.

Потом она открыла другую папку — ту, где лежали протоколы по опыту на северном склоне, — и просидела над ними до часу дня, не вставая, не отвечая на стук в дверь, с которым приходил лаборант, и к часу у неё онемела правая нога и расчёт сошёлся дважды.

В час она приняла таблетку.

Сердце, как всегда после разговора с Сергеем Сергеевичем, шло неровно, с перебоями, с тем провалом, когда вместо удара — яма, и ты ждёшь следующего удара и думаешь: а если его не будет. Она знала, что это не болезнь, а усталость; знала, что разницы в её возрасте уже нет; знала, что таблетку, которую она сейчас запивает остывшим чаем, она выписала себе сама, и это нарушение, одно из многих, которые она себе разрешала, — потому что сходить к кардиологу означало бы завести карту, а карта означала бы запись «ограниченно годна», а эта запись означала бы, что всё остановится. Она не могла позволить себе остановиться. Она даже не могла внятно объяснить почему. Сначала это было «пока не разберусь». Потом «пока не закончу». Теперь — просто «пока».

В два она снова подошла к окну.

Снег перед проёмом был истоптан в кашу, рельсы блестели там, где их очистили колёса. Состав на завтра уже стоял: тридцать полувагонов, порожних, с откинутыми бортами, и в них лежал снег. Серое над ними дрожало — еле заметно, как всегда, как всегда, как всегда.

Десять лет она смотрела на это серое, и десять лет не могла привыкнуть к тому, что оно ничего не делает.

Оно не гудело. Не светилось. Не менялось — ни от времени суток, ни от погоды, ни от того, сколько через него прошло людей. Его нельзя было измерить ничем, кроме рулетки: двенадцать метров двадцать сантиметров в ширину, одиннадцать и восемь в высоту, толщина не определяется. Оно не реагировало на ток, на излучение, на взрыв, на холод, на молитву — последнее проверяли в первый год, неофициально, и об этом не писали в отчётах, но она знала. Ей, человеку, который всю жизнь работал с тем, что меняется, — с опухолью, которая растёт, с анализами, которые ползут, с кривыми выживаемости, которые идут вниз и которые можно, если очень постараться, чуть-чуть загнуть вверх, — это казалось оскорблением. Личным. Вещь, которая не отвечает. Вещь, на которую невозможно повлиять и которая влияет на всё.

Она подумала об этапе, который ушёл утром. Двадцать три человека, которые к вечеру будут в бараках «Ноля», получат матрас, место и номер барака, и кто-то из них сегодня ночью впервые увидит в окно то, что ходит вдоль сетки. Из них, если статистика восьмого года верна, укушены будут четверо до Нового года. Из четверых поднимутся трое. Один останется.

Если останется.

Фамилия того одного ей была не нужна. Она узнает её, когда позвонит Рябов, — в декабре или в январе, в половине восьмого утра, своим прокуренным голосом. Но палец сам нашёл список на планшете и прошёл по нему ещё раз, сверху вниз, и на одной строке задержался на долю секунды дольше, чем на других.

Сажин Е. И. Девяносто четвёртого. Сто пятьдесят девятая. Студенческий регистр, Пенза.

Она не знала, почему задержалась.

Ничего в строке не выделялось. Возможно, потому что сто пятьдесят девятая была здесь редкостью: мошенников на «Ноль» почти не отправляли, суды не видели в них нужной тяжести, и за восемь лет их прошло через неё человек сорок, не больше. Возможно, потому что «студенческий регистр» означало, что человек сдавал кровь на третьем курсе, за зачёт, как сдавали все, и что ему тогда было девятнадцать и он не читал, что подписывает, — а она в девятнадцать тоже не читала, что подписывает, и у неё это кончилось хорошо.

Возможно, просто так. Усталость даёт такие сбои: глаз цепляется за случайное и придаёт ему вес.

Она убрала палец и закрыла список.

В четыре приехала машина, и она уехала в Зубову Поляну, в гостиницу «Рассвет», где у неё был номер на третьем этаже с видом на лес. За семь лет она ни разу не открыла в нём шторы.

Глава 4. Выработка

Подняли затемно, и подняли не криком.

Под потолком вспыхнули лампы — все разом, голые, без плафонов, и свет был такой, что Егор зажмурился и под веками поплыли красные круги. Барак застонал. Заворочался, закашлял — сотня глоток разом, мокро, надсадно, с тем чёрным выхаркиванием, которое Егор потом научится узнавать, — заматерился шёпотом, зашуршал одеждой. Кто-то рядом сказал в пространство, ни к кому: «Опять живые, суки». И это прозвучало не как жалоба, а как констатация, как «опять понедельник».

Хромой уже сидел у печки. В той же позе, с той же кружкой. Егор не видел, чтобы он ложился, и подумал, что, может быть, он и не ложится вовсе, — и эта мысль была нелепой, и он всё равно в неё поверил.

Пайку выдавали у двери, из двух баков. Кусок серого хлеба — он взвесил его на ладони, машинально, как взвешивал всё: граммов триста, не больше. Кружка кипятка, в котором плавало что-то бурое, ничем не пахнущее. Ложка каши в жестяную миску — перловка, слипшаяся в ком, чуть тёплая, с привкусом жести.

Он съел всё. Быстро, не чувствуя вкуса, потому что видел, как едят другие, — а другие ели так, как едят люди, у которых отбирали еду и, возможно, будут отбирать: не поднимая глаз, прикрывая миску локтем, в три движения. Это был первый язык, который он здесь выучил, — язык рук над миской.

Бурый рядом жевал медленно, глядя в стену, и Егор подумал, что это, наверное, высший шик: есть медленно.

— Марлю взял? — спросил Бурый, не поворачиваясь.

— Какую?

Бурый кивнул на ящик у двери. Там лежали серые тряпки, нарезанные полосами, грязные, кое-где с бурыми пятнами, и к ним по очереди подходили, брали, повязывали на шею, как шарф.

— Бери две. Одну на рожу, одну про запас. Промокнет — сменишь.

— От чего?

— Увидишь.

Егор взял две. Потом вернулся и взял третью — для Кирилла, который стоял над своей миской и не ел, а только размазывал кашу ложкой, медленно, кругами, как ребёнок за столом у бабушки.

— Ешь, — сказал Егор.

— Не лезет.

— Лезет. Потом не будет.

— Егор Иваныч, я не могу. Меня мутит. Я как про вчерашнее подумаю…

— Не думай про вчерашнее. Думай про кашу. — Он сел напротив. — Смотри на меня. Ложку взял. Поднёс. Проглотил. Ещё.

Кирилл посмотрел на него — долго, с какой-то собачьей, беззащитной готовностью слушаться, — и стал есть. Давился, но ел. Егор смотрел и думал, что это и есть то, что здесь называется словом «долг»: не деньги, не обязательство, а вот это — сидеть напротив и говорить «ещё».

Потом он завязал ему марлю на шее, как шарф, в два оборота. Пальцы у Егора были холодные, негнущиеся, а шея у Кирилла была горячая и влажная, и он вздрогнул от прикосновения, но не отстранился.

— Спасибо.

— Не за что.

Колонна строилась на плацу в темноте, при прожекторах, и Егор впервые увидел, сколько их.

Восемьсот человек. Он знал, что восемьсот, потому что Бурый сказал «восемь сотен», и потому что сам считал ряды, пока строились, и дошёл до ста девяноста, когда их повели, и этого хватило, чтобы проверить. Восемьсот человек стояли по четверо, руки за спину, в полной тишине, и от восьмисот дыханий над колонной стоял пар — низкое белое облако, которое висело, не рассеиваясь, потому что ветра здесь не было.

Конвой по бокам, через каждые десять человек. У ворот стояли две машины с решётками на фарах, моторы работали на холостых, и выхлоп стелился по снегу белым и не поднимался.

А перед машинами стояли люди.

Человек пятнадцать. Отдельно, в стороне от колонны, шагах в двадцати. В таких же телогрейках — но без марли. И без ничего в руках: ни кайла, ни лопаты, ни тачки.

Они стояли не строем. Просто стояли, вразброс, как стоят на остановке, и смотрели в сторону ворот, в темноту за воротами, и никто из них не переминался с ноги на ногу, не дышал в кулак, не разговаривал. Это было самое странное: восемьсот человек мёрзли, а эти пятнадцать — нет.

Над ними, на вышке, стрелок держал автомат не на плече, как все остальные стрелки, а у плеча, прикладом в выемку, и ствол ходил по этим пятнадцати медленно, слева направо и обратно, как по мишеням в тире.

— Не смотри, — сказал Бурый тихо, одними губами.

— Кто это?

— Псы.

— Кто?

— Не смотри, говорю. Потом.

Егор не смотрел. Но увидел всё равно — краем глаза, так, как видят то, на что запретили смотреть, и видят поэтому вдвое отчётливее.

Один из пятнадцати был большой. Грузный, с широкой, тяжёлой спиной, в телогрейке, которая на нём не сходилась и была перехвачена верёвкой. При свете прожектора лицо его казалось серым — не чёрным от пыли, как у вчерашней смены, а именно серым, ровно-серым, как зола, как непропечённое тесто. Он стоял чуть впереди остальных и смотрел в темноту за воротами.

Не на ворота. В темноту. Как смотрят на то, что оттуда придёт.

Ворота открыли. Пятнадцать пошли первыми, и колонна подалась за ними, и Егор увидел, что между последним из пятнадцати и первой четвёркой колонны — шагов десять пустоты, и никто эти десять шагов не сокращает.

Потом машины. Потом они.

До карьера было три километра, и Егор считал шаги до тысячи, потом сбился, начал заново, и так четыре раза, и к концу перестал понимать, зачем считает, — просто не мог остановиться, как не может остановиться человек, который трёт ушибленное место.

Дорога шла вниз, потом по ровному, потом снова вниз. Справа всё время был лес.

Тёмный, плотный, еловый, без единого просвета, без подлеска, без того живого беспорядка, который бывает у настоящего леса. Он стоял стеной — и от него тянуло холодом, как от открытого холодильника, и Егор, проходя, чувствовал этот холод щекой. Лес стоял шагах в тридцати от дороги, и между ним и дорогой был только снег, ровный, нетронутый, и он подумал, что тридцать шагов — это очень мало. Что человек, если побежит, пробежит их за пять секунд.

А если не человек?

Он посмотрел вперёд, на тех пятнадцать, идущих в голове. Они шли не оглядываясь. И тогда он сообразил, зачем их ставят первыми, — сообразил сразу и целиком, и тут же отказался себе верить, потому что это было слишком.

Светало медленно, со всех сторон сразу, как темнело. Серое проступало сквозь чёрное без всякого рассвета, без зари, без той минуты, когда небо на востоке делается зелёным. Егор искал глазами восток и не находил его.

Когда колонна вышла на последний спуск, стало видно карьер.

Яма.

Огромная, пологая, ступенчатая, вырытая в склоне холма, — полкилометра в поперечнике, может, больше. И чёрная. Вся: дно, стены, уступы, отвалы по краям, дороги между ними, — всё было одного цвета, цвета мокрого угля, и в этой черноте ползали жёлтые машины: два экскаватора, три самосвала, бульдозер. Жёлтое на чёрном было единственным цветом на много километров вокруг, и смотреть на него было почти больно.

Вокруг ямы по краю стояли вышки. Егор насчитал одиннадцать с этой стороны и подумал, что с той, наверное, столько же. Забора не было. Совсем. Только вышки — и голый снег за ними, уходящий к горизонту, и серое небо, и больше ничего.

Забора не было, потому что бежать было некуда. Это он понял сразу и окончательно, и это было хуже любого забора: забор можно ненавидеть, а здесь ненавидеть было нечего.

И дым. Из нескольких мест на дне, из низких тёмных куч, поднимался дым — прямой, в безветрии, — и запах его Егор уже знал.

* * *

Работа оказалась простой. Это была самая простая работа, какую он делал в жизни, — и к полудню он понял, что она его убьёт.

Бригаду поставили на нижний уступ, в мёртвую зону экскаватора. Кайло, лопата, тачка. Породу надо было отбить от стены, сгрести, нагрузить в тачку и отвезти к бункеру, откуда она уходила по ленте в самосвал. Кайло на двоих, лопата на троих, тачка на одного. Бригадир — кряжистый мужик с бельмом на левом глазу, отчего казалось, что он всё время смотрит немного мимо, — объяснил это за полминуты, не глядя ни на кого, и больше ничего не объяснял ни в этот день, ни потом.

Порода была тяжёлой.

Тяжелее камня. Тяжелее всего, что Егор держал в руках за свои тридцать два года. Глыба размером с кирпич весила как два, и когда он поднял первую, рука у него пошла вниз, и он чуть не выронил её на ногу, и услышал, как кто-то сзади коротко хмыкнул.

Она крошилась под кайлом неохотно, с глухим, мёртвым звуком — не как камень, который звенит, а как мёрзлое мясо, — и из трещин шла пыль. Чёрная, мелкая, как сажа.

И тёплая.

Это он заметил сразу, в первые же минуты, и не поверил, и проверил ещё раз, сняв рукавицу и приложив ладонь к свежему излому. Тёплая. Всё остальное здесь было холодным: воздух, железо, снег на отвалах, рукоять кайла, его собственные руки. А порода в руках теплела — медленно, как живая, как котёнок, которого держишь за пазухой, — и Егор отдёрнул руку и больше её не трогал голой ладонью, никогда.

К обеду он чувствовал пыль на зубах. Она проходила сквозь марлю — через час марля стала чёрной и мокрой изнутри, — оседала в горле, под веками, в ушах, в волосах. Он сплюнул, и слюна была чёрной.

Вольнонаёмные ходили в респираторах.

Он видел их издали: инженера в жёлтой парке, который стоял у бункера с планшетом и смотрел, как идёт лента; машинистов в кабинах; охранника у самосвала. У всех на лицах были серые намордники с круглыми фильтрами, и под ними лиц было не разобрать. Егор посчитал респираторы, какие видел: девять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.